

СОДЕРЖАНИЕ

Утро	5
Птицы	12
Пустыня	17
В виноградной балке	25
Хлеб насущный	32
Что убивать ходят	39
Нянины сказки	46
Про Бабу-Ягу	55
С визитом	60
«Мементо мори»	67
«Сады миндальные»	80
Волчье логово	90
Чудесное ожерелье	104
В глубокой балке	116
Игра со смертью	125
Голос из-под горы	133
На пустой дороге	148
Миндаль поспел	160
«Жил-был у бабушки серенький козлик»	174
Конец павлина	185
Круг адский	191
На тихой пристани	196

Чатырдаг дышит.	203
Праведница-подвижница.	211
Под ветром	216
Там, внизу.	228
Конец Бубика.	233
Жива душа!	240
Земля стонет.	244
Конец доктора	249
Конец Тamarки	253
Хлеб с кровью.	259
Тысячи лет тому:	265
Три конца	271
Конец концов.	277

УТРО

За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка...

Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, — опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока — пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блески жира и появляется пеночка...

Не надо думать о таких пустяках — чего они лезут в голову!

Итак, новое утро...

Да, сон я видел... странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.

Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога... Дворцы, сады... Тысячи комнат — не комнат, а зал роскошный из сказок Шехерезады — с люстрами в голубых огнях — огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов — нездешних. Я хожу и хожу по залам — ищу...

Кого я с великой мукой ищу — не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на

старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце... — подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду — цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие... Станных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах бледных — с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит — я чувю это щемящей болью, — что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они — вне жизни. Уже — нездешние... И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах...

Я рад проснуться.

Конечно, она — Тамарка. Когда молоко вскипает... Не надо думать о молоке. Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелям — теперь опасно держать открыто: придут ночью... На огороδικе помидоры — правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют... с десяток кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!..

Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балкам, рубить «кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..

Да что такое, Тамарка у забора!.. Сопенье, похлестывание веток... обглаживает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил... На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод... Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела — только обглоданный

граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чашам. И она бродит, бродит...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц — август. А день... Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило благовест в городке... Я сорвал зеленый «кальвиль» — и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке... принес и положил тихо на веранде. Преображение... Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели...

Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убить!

Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье — милое мое прошлое, изодранное по чашам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам: заготавливать к зиме топливо. Зачем — не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном — стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг — точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, повек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения... Прошлое вспыхивает и гаснет... Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло — можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от

Чатырдага, да зарядят дожди... Тогда плохо ходить по балкам.

Я надеваю тряпье... Старьевщик посмеется над ним, в мешок запахает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею — для будущего, из крови настряпают «кубиков» для бульона... Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.

Мои лохмотья... Последние годы жизни, последние дни — на них последняя ласка взгляда... Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам...

Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь — и хлынет в защуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это — последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!

В отлогой балке — корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок-груш, понизу виноградника, залиты алым гляncем.

А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, повешали на себя тяжелые бусы-грушки — «мари-луиз».

Я тревожно обыскиваю глазами... Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.

Здравствуйте и вы, горы!

К морю — малютка гора Кагель, крепость над виноградниками, гремящими надалеко славой. Там и золотистый «сотерн» — светлая кровь горы, и густое «бордо», пахнущее сафьяном и черносливом, и крымским солнцем! — кровь темная. Сторожит Кагель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся — лесная.

Правее, дальше — крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром — розовый, к ночи — синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука... Сколько верст до него, а — близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину внизу и взгорья, все — в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.

Правее еще — мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно — дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.

Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь...

Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все — нездешнее. Ночью они вернуться. Утро срывает сны:

вот она, голая правда, — под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали...

Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и — не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, — под ногами.

Я знаю, что в виноградниках, под Капелью, не будет винограда, что в белых домиках — пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни... Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная недалеко. Время придет — прочтется...

Я уже не гляжу на дали.

Смотрю через свою балку. Там — мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь — убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекасти-поле, уже отсохшее: заскачет — только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливают, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.

А вот — бельмо на глазу, калека. Когда-то — Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит — кривится. Давно обобрали ее воры, побили стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показы-

вает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки — болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие уксусные деревья.

Дачка свободна и бесхозяйна, — и ее захватил павлин.